

Валерий Антонов

Рюрик



Валерий Антонов

Рюрик

«Автор»

2026

Антонов В.

Рюрик / В. Антонов — «Автор», 2026

Он родился под знаком сокола — и всю жизнь шёл за птицей, которую видел только он. Балтийское побережье, 845 год. Рарог — тонкий, впечатлительный мальчик, который падает в обморок от звука бубнов и рисует на коре странных птиц. Враги называют его слабаком, мать — порченным, а одна некрасивая девочка с мужицкими плечами — своим малякой. Она будет его скалой. Она будет ждать его всю жизнь. Рарогу суждено стать Рюриком — тем, кто видит поле боя с высоты, кто ведёт за собой народы и строит города. Но цена дара — потеря всего, что дорого. Плен, усыновление варяжским ярлом, любовь к дочери конунга и память о той, кто осталась у старого дуба. Это история человека, который не хотел быть героем, но стал основателем династии. Романа о том, что настоящая сила — не в мече, а в умении видеть и помнить. И о птице, которая не улетает даже после смерти.

© Антонов В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПРОЛОГ. СОКОЛ	6
ГЛАВА 1. ПЕРУНОВ ДЕНЬ	10
ГЛАВА 2. КРЫЛО НА КОРЕ	16
ГЛАВА 3. ВЕДУНЬЯ	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Валерий Антонов

Рюрик

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта история записана со слов старого странника, что пришёл в Новгород в год 921-й от Рождества Христова, через сорок два года после смерти Рюрика. Он был сед, сгорблен и слеп на один глаз. Но второй его глаз был ясным, как у молодого. Он сидел у очага в доме купца, пил мёд и рассказывал. Говорили, что он знал Рюрика лично. Говорили, что он был одним из его воинов. Говорили, что он — сам дух, принявший облик человека. Никто не знал правды. Но слушали все.

Он говорил долго — семь вечеров подряд. Он рассказывал о мальчике, который боялся бубнов и рисовал птиц. О женщине, которая любила его больше жизни. О войнах, походах, плене и славе. О городе, который поднялся на берегу Волхова. О законах, которые защитили слабых. О птице, которая вела его всю жизнь.

Когда он закончил, его спросили: «Откуда ты знаешь всё это?»

Он усмехнулся. Потом показал на своё плечо — под рубахой, у ключицы, был выжжен знак. Птица с тремя зубцами.

«Я — из его рода, — сказал он. — Я — из тех, кто помнит».

А потом он встал, поклонился и вышел в ночь. И больше его не видели.

Но рассказ его остался. Его передавали из уст в уста, от отца к сыну, от матери к дочери. Пока однажды не записали на бересте, а потом — на пергаменте.

Так появилась эта история.

Так появился Рюрик.

ПРОЛОГ. СОКОЛ

Балтийское побережье. Земля словен ильменских. Городище на высоком мысу, там, где река делает крутой изгиб перед впадением в Варяжское море. Зима. Месяц студень. Год 840-й от Рождества Христова — или около того, ибо точного счёта здесь не ведут. Здесь считают от пращуров, от первых родов, от начала мира, когда Сварог выковал солнце, а Даждьбог пустил его по небесному кругу.

Место это зовётся ныне Старой Ладогой, и впереди у него — столетия славы, торговли и войн. Но пока — это небольшое поселение на окраине славянских земель, затерянное между лесом, болотами и холодным морем. Здесь живут люди, называющие себя словенами. Они пришли сюда от озера Ильмень, от реки Волхов, гонимые то ли нуждой, то ли поиском лучшей доли, то ли волей богов. Они поставили дома на высоком берегу, обнесли их частоколом и стали жить — охотой, рыбной ловлей, бортничеством, а большие — торговлей и войной.

Время здесь течёт по солнцу и луне. Зимой, когда дни коротки, а ночи длинные, люди сидят у очагов, прядут, режут по кости, точат оружие, рассказывают старые истории. Летом — работают от зари до зари: пахут, сеют, жнут, ловят рыбу, ходят в лес за мёдом диких пчёл. Осенью — собирают урожай, бьют скотину, готовят припасы к зиме. Весной — жгут старую траву, чинят сети, выходят в море.

Жизнь здесь проста и сурова. Люди живут большими семьями, по десять-пятнадцать душ в одном доме. Всё общее: еда, работа, забота о детях, тревога о завтрашнем дне. Род — это всё. Вне рода — только смерть.

Дом, в котором происходит наша история, стоит на краю городища, у самой воды. Он срублен из толстых сосновых брёвен, проложенных мхом, крыт дёрном. Внутри — одна большая комната с печью-каменкой, с полатами, с земляным полом, утоптанном до твёрдости. Здесь живут Ратибор, воин, не раз ходивший в походы за море, его жена Милава и их дети: старший сын Олег, дочь Млада и младенец Рарог, которому от роду шесть месяцев.

Рарог родился в начале лета, в месяц червень, когда цвели травы и птицы пели с расвета до заката. Роды были тяжёлыми. Милава родила три дня, и повитуха уже готовилась к худшему. Но мальчик вышел — слабый, тихий, с тёмными волосами и удивительно спокойными глазами. Он не кричал. Он просто лежал и смотрел, и в этом взгляде было что-то, отчего повитуха перекрестилась — по старой привычке, хотя креста здесь не носили.

Назвали его Рарогом — в честь огненного духа, сокола, который, по преданию, приносит людям огонь с небес. Имя выбрала мать. Она видела сон за три дня до родов: огромная белая птица опустилась на крышу дома, заглянула внутрь и сказала — не голосом, а прямо в сердце: «Назови его Рарогом. Он будет моим». Милава проснулась в слезах. Она знала: птица не отступится. Но имя — это судьба. И она назвала сына Рарогом.

Теперь, зимней ночью, она сидит у очага и смотрит на люльку, в которой спит её младший сын. Она не знает, что эта ночь изменит всё.

I.

Дом жил своей обычной зимней жизнью.

Печь, сложенная из больших валунов, топилась с утра. От неё шёл сухой, тяжёлый жар, и в доме было тепло, даже душно. Пахло смолой, дымом, сушёными травами, развешанными под потолком, и парным молоком. На полатах, укрытые шкурами, спали дети — Олег, девяти лет, и Млада, четырёх. Ратибор сидел у очага, чинил сеть. Он был высоким, широкоплечим, с тёмной бородой и шрамом через левую бровь. Пальцы его, грубые и сильные, ловко перебирали нити, сплетая порванные ячейки.

Милава сидела напротив, на низкой скамье, и пряла. Веретено крутилось в её пальцах, тонкая шерстяная нить тянулась из кудели, наматывалась на веретено. Она пряла и поглядывала на люльку, что висела в углу, подвешенная на кожаных ремнях к потолочной балке.

Люлька была старой. Её сколотил ещё отец Ратибора, когда родился их первый сын — тот, что умер от лихорадки, не дожив до года. С тех пор в ней выросли Олег и Млада. Теперь в ней лежал Рарог.

Младенец спал. Он лежал на спине, раскинув руки, и дышал ровно, спокойно. Лицо его было безмятежным. На щеках — лёгкий румянец от тепла. На губах — едва заметная улыбка, как будто ему снилось что-то хорошее.

Милава смотрела на него и не могла отвести взгляд.

Она помнила, как он родился. Помнила боль, страх, темноту. Помнила, как повитуха положила его ей на грудь — маленького, мокрого, тёплого. Он не кричал. Он просто смотрел на неё, и в его глазах было что-то, чего не бывает у новорождённых. Понимание. Как будто он уже знал что-то, чего не знала она.

— Ты чего? — спросил Ратибор, не поднимая головы от сети.

— Ничего, — сказала Милава. — Смотрю на него.

— На кого?

— На Рарога.

Ратибор хмыкнул.

— Что на него смотреть? Спит — и пусть спит. Раста будет — не до сна будет.

— Он странный, — сказала Милава. — Не такой, как другие.

— Какой?

— Тихий. Слишком тихий. Олег в его возрасте орал так, что стены тряслись. А этот... он как будто всё понимает.

Ратибор отложил сеть, поднял голову.

— Ты опять за своё, — сказал он. — Ребёнок как ребёнок. Не выдумывай.

— Я не выдумываю, — сказала Милава. — Я чувствую.

— Чувствуешь, — повторил Ратибор. — Бабы сказки. Вот что, Милава: не придумывай. Живи просто. Раста сына. А про странности забудь.

Он встал, потянулся.

— Пойду скотину проверю. Волки нынче близко ходят. Слышала, как воют?

— Слышала, — сказала Милава.

— Ну вот. А ты — про странности.

Он набросил тулуп, вышел. Дверь скрипнула, впустив в дом облако морозного пара.

Милава осталась одна.

Она отложила веретено, подошла к люльке. Наклонилась. Младенец спал, и его дыхание было лёгким, как дуновение ветра. Она поправила одеяло — кусок старой медвежьей шкуры, вытертой до блеска. Коснулась пальцем его щеки. Кожа была тёплой, нежной.

— Рарог, — прошептала она. — Сынок.

Младенец не пошевелился.

И вдруг она почувствовала: что-то изменилось.

В доме стало тихо. Слишком тихо. Даже огонь в очаге перестал потрескивать, как будто затаился. Воздух сгустился, стал тяжёлым, как перед грозой.

Милава подняла голову.

И увидела.

П.

На краю люльки сидел сокол.

Она не вскрикнула. Не пошевелилась. Она просто смотрела, не в силах отвести взгляд.

Птица была огромной — таких соколов она не видела никогда. Белая, как снег за окном, с серебристым отливом на крыльях. Грудь — белоснежная, с едва заметными серыми крапинками. Клюв — тёмный, загнутый, острый, как коготь. Когти — длинные, чёрные, блестящие, как обсидиан. Они впились в деревянный бортик люльки, оставляя глубокие борозды.

Но самое страшное было — глаза.

Золотые. С чёрным зрачком. И в этих глазах Милава увидела не птицу. Она увидела разум. Древний, бесконечный, непостижимый.

Сокол смотрел на младенца.

Рарог лежал на спине и спал. Он не знал, что над ним сидит птица. Он не знал, что эта птица пришла за ним. Его лицо было спокойным, губы слегка приоткрыты.

Сокол наклонил голову. Сначала в одну сторону, потом в другую. Он разглядывал младенца, как разглядывают нечто, что должно принадлежать тебе по праву.

Милава хотела крикнуть. Хотела вскочить, схватить сына, прогнать птицу. Но не могла. Тело её будто окаменело. Только сердце колотилось так, что она слышала его в ушах — глухие, тяжёлые удары.

Сокол раскрыл крыло.

Оно было огромным. Оно накрыло всю люльку, от края до края. Белые перья, длинные, с серебристым отливом, светились в полумраке, как будто впитали в себя лунный свет. Сокол держал крыло над ребёнком, не касаясь его, но Милава чувствовала: что-то происходит. Что-то, чего она не может понять.

Она увидела, как на лбу младенца — там, где у него бился родничок, — появилось едва заметное свечение. Тонкое, золотистое, как нить. Оно пульсировало в такт дыханию ребёнка. Сокол держал крыло, и свечение становилось ярче, шире, словно птица вливала в младенца какой-то огонь, невидимый глазу.

Милава не могла дышать. Слёзы текли по её щекам. Но это не были слёзы страха. Это было что-то другое — благоговение, как перед божеством, как перед чудом.

Сокол убрал крыло.

Свечение погасло. Младенец вздохнул, повернул голову, но не проснулся.

Птица посмотрела на Милаву. И в этом взгляде она прочитала — не слова, а знание, которое влилось в неё, как вода в сухую землю:

«Он — мой. Я буду с ним. Всегда».

Сокол расправил крылья. Взмахнул. Милава почувствовала порыв ветра — тёплого, пахнущего небом, солнцем и далёкими землями. Птица взлетела к потолку, к дымовому отверстию, и исчезла в нём.

В доме стало тихо. Только огонь потрескивал в очаге, и где-то далеко выл волк.

III.

Милава вскочила.

Бросилась к люльке. Схватила сына на руки. Прижала к груди. Он был тёплым, живым, спокойным. Он спал, как будто ничего не случилось.

Она осмотрела его. Ни царапин, ни следов. Только на лбу, там, где пульсировало свечение, осталось крошечное пятнышко — светлое, едва заметное, как отпечаток перышка. Она коснулась его пальцем. Пятнышко было тёплым.

Милава заплакала. Она держала сына и плакала, не зная, от чего — от страха, от облегчения, от любви.

Дверь отворилась. Вошёл Ратибор. Он был весь в снегу, с мороза, от него пахло холодом и дымом.

— Что случилось? — спросил он, увидев жену в слезах.

— Птица, — прошептала Милава. — Сокол. Он сидел на краю люльки. Он накрыл Рарога крылом.

Ратибор посмотрел на неё. Потом на младенца. Потом на люльку.

— Тебе приснилось, — сказал он.

— Нет, — сказала она. — Я видела.

Она показала на борттик люльки. Ратибор подошёл, наклонился. На дереве были царапины — четыре глубокие борозды, как от когтей. Он потрогал их. Они были свежими, ещё пахли смолой.

— Это знак, — сказала Милава. — Сокол приходил за ним. Он будет его. Навсегда.

Ратибор молчал. Он был воином, не жрецом. Он верил в Перуна, в Велеса, в духов предков. Но он не понимал птиц. Однако он видел царапины. И он видел лицо жены — бледное, с мокрыми от слёз щеками, но спокойное, как будто она приняла что-то, что больше её.

— Что это значит? — спросил он.

— Это значит, — сказала Милава, — что наш сын не будет простым человеком. Он будет ведомым. Он будет тем, кто видит. Он будет великим.

Она прижала младенца к груди.

— И он будет страдать, — добавила она тихо. — Потому что все великие страдают.

Ратибор сел рядом, обнял её.

— Я защищу его, — сказал он.

— Не сможешь, — сказала она. — От судьбы не защитишь. Можно только идти рядом.

Она посмотрела на сына. Он спал, и на губах его блуждала улыбка.

— Я пойду рядом, — прошептала она. — Всю жизнь. Я буду с ним. Всегда.

Так сокол впервые пришёл к Рарогу. Он пришёл, когда мальчику было шесть месяцев от роду, и накрыл его своим крылом, отметив навсегда. С тех пор птица не оставляла его — она приходила в снах, в видениях, в знаках. Она вела его, защищала, но и требовала. Она была его судьбой.

Мать поняла это первой. Она назвала сына Рарогом — в честь огненного духа. И она знала: имя это — не просто звук. Это — приговор. Или благословение. Или то и другое вместе.

Много лет спустя, когда Рарог станет Рюриком, когда он построит Новгород и создаст государство, он вспомнит рассказ матери о соколе. И поймёт: птица была с ним с самого начала. С первого вдоха. С первого крика. С первого удара сердца.

Она была его душой.

И она останется с ним до конца.

ГЛАВА 1. ПЕРУНОВ ДЕНЬ

Балтийское побережье. Земля словен ильменских. Городище на высоком мысу, там, где река делает крутой изгиб перед впадением в Варяжское море. Середина лета. Месяц червень. Год 845-й от Рождества Христова — или около того, ибо точного счёта здесь не ведают. Здесь считают от пращуров, от первых родов, от начала мира, когда Сварог выковал солнце, а Даждьбог пустил его по небесному кругу.

Городище стоит на высоком берегу, ограждённое с одной стороны обрывом к воде, с другой — глубоким рвом, с третьей — земляным валом, увенчанным частоколом из заострённых дубовых брёвен, почерневших от времени и дождей. Внутри — два десятка домов, срубленных из толстых сосновых брёвен, с двускатными крышами, крытыми дёрном. Дома стоят полукругом, обращённым к реке, а в центре — площадь, на которой сейчас собирается весь народ.

Люди, живущие здесь, называют себя словенами. Они пришли сюда от озера Ильмень, от реки Волхов, от земель, где леса гуще, а болота непроходимее. Здесь, у моря, они нашли новую землю — суровую, но щедрую. Они живут охотой, рыбной ловлей, бортничеством, а большие — войной и торговлей. Они сильны, эти люди. Они привыкли выживать там, где другие гибнут. Они чтут богов, но не боятся их. Они верят в судьбу, но не покоряются ей.

Сегодня — день их главного бога. День Перуна — громовержца, покровителя воинов, того, кто мечет молнии с небес и карает врагов. В этот день приносят жертвы, зажигают священные костры, поют древние песни и просят у бога силы, победы и урожая.

И в этот день начинается наша история.

I.

Рассвет ещё только занимался над лесом, а городище уже гудело.

Первыми поднялись женщины. Задолго до того, как солнце показалось над частоколом, из дымовых отверстий домов уже поднимались столбы дыма — сизые, ленивые, пахнущие смолой и сухой травой. Это топились печи. В каждой избе, в каждом дворе шла работа — такая, какой занимаются только перед великим праздником.

В доме Ратибора и Милавы тоже готовились.

Милава, мать Рарога, сидела у печи и варила медовуху. Это было долгое, тонкое дело, которое она никому не доверяла. Медовуха для Перунова дня должна была быть особенной — не слишком крепкой, но и не слабой, с травами, собранными в начале лета, когда они ещё полны сока.

Она стояла у очага, склонившись над большим глиняным горшком, в котором булькала янтарная жидкость. Рядом на лавке лежали пучки сушёных трав: зверобой, душица, мята, богородская трава. Милава брала по щепотке, растирала между пальцами, нюхала и бросала в горшок. Пар поднимался густой, сладкий, от него кружилась голова и хотелось спать.

— Мама, — раздался голос с полатей.

Милава обернулась. Рарог сидел на краю лежанки, свесив босые ноги. Он только что проснулся и смотрел на неё сонными глазами. Волосы его были взлохмачены, на щеке — красный след от подушки.

— Что, сынок? — спросила она.

— А почему медовуху варишь только на праздник?

Милава улыбнулась.

— Потому что медовуха — это не просто питьё. Это жертва. Мы варим её, чтобы угостить богов. Перун пьёт её с нами, когда мы празднуем. Если сварить плохо — бог обидится.

Она помешала варево деревянной ложкой. По горшку пошли круги, и пар поднялся ещё гуще.

— Вот смотри, — сказала она. — Мёд я растопила ещё вчера. Вода — из колодца, не из реки. Речная вода мутная, а колодезная — чистая, как слеза. Травы я собирала в начале месяца, когда они ещё не потеряли силу. Всё это я варю на малом огне, не доводя до кипения. Если закипит — всё пропало. Медовуха будет горькой. И боги отвернутся.

Рарог слушал, затаив дыхание. Он любил, когда мать говорила так — спокойно, обстоятельно, как будто передавала ему какое-то древнее знание.

— А можно я попробую? — спросил он.

— Нельзя, — сказала она. — Ты ещё мал. Медовуха — для взрослых. Для мужчин, которые вернулись с войны. Для женщин, которые родили детей. Для стариков, которые прожили жизнь. А тебе ещё рано.

— А когда будет можно?

— Когда пройдёшь посвящение. Когда докажешь, что ты — мужчина.

Рарог замолчал. Он смотрел, как мать мешает медовуху, как от горшка поднимается пар. И ему казалось, что он слышит, как медовуха поёт — тихо, на самой грани слышимости, как будто зовёт его.

— Она поёт, — сказал он.

Милава замерла. Посмотрела на него.

— Что?

— Медовуха. Она поёт. Тихо так. Как будто птица.

Милава смотрела на сына. В её глазах мелькнуло что-то — не страх, не удивление. Узнавание.

— Ты слышишь её? — спросила она тихо.

— Да, — сказал Рарог. — А ты нет?

Она не ответила. Отвернулась к горшку, помешала варево, и ложка в её руке дрогнула.

— Иди, — сказала она. — Поиграй. Скоро праздник начнётся.

Рарог прыгнул с лежанки, сунул ноги в поршни и выбежал во двор. Он не заметил, что мать долго смотрела ему вслед, и губы её шевелились, повторяя какую-то молитву.

II.

К полудню городище гудело, как улей.

Солнце висело высоко, белое от жара, и тени от частокола лежали короткими чёрными полосами на утоптанной земле. Запах медовухи смешивался с запахом дыма, пота, дегтя и цветущего клевера — сладкий, тяжёлый, одуряющий.

Люди высыпали из домов. Женщины в тяжёлых шерстяных поневах — клетчатых, с грубой вышивкой по подолу — тащили корзины с едой: ячменные лепешки, испечённые на камнях, вяленую рыбу, кувшины с медовухой, запечатанные воском. На головах у замужних — сороки, сложные уборы с позатыльниками, расшитые красной нитью. У девушек — очелья, украшенные бисером из стекла и янтаря, и височные кольца, звонкие, как голоса духов. У некоторых на груди — обереги: лунницы, коньки, гребни, зубы диких зверей.

Мужчины в льняных рубахах до колен, подпоясанные кожаными ремнями с медными пряжками, правили упряжь у коней, поправляли сбрую, проверяли, крепко ли сидят на древках наконечники копий. Поверх рубах у многих — безрукавки из грубой шерсти, у некоторых — кожаные нагрудники, потемневшие от пота и времени. На ногах — онучи, обернутые вокруг голеней и закреплённые плетёными оборами. На ступнях — поршни из сыромятной кожи, стянутые ремешком по краю.

Дети носились между ног взрослых, визжали, дразнили псов, бросали друг в друга комьями сухой земли. Мальчишки постарше помогали отцам — держали коней, подносили воду, раздували угли в костре. Девочки плели венки из клевера и ромашек, надевали их на головы, смеялись, кружились, раздувая подолы рубах.

Сегодня был великий день. Перунов день.

На площади, перед капищем, уже горел огромный костёр. Дубовые брёвна сложены костью, выше человеческого роста, переложенные берестой и сухой травой для растопки. От них шло такое тепло, что даже на расстоянии пяти десятков шагов жар обжигал лицо, а пот выступал на лбу. Вокруг костра — священный круг, очерченный мелом, смешанным с золой, и посыпанный рожью — чтобы духи предков видели границу и не забирали силу огня себе.

Рядом с костром, на особом возвышении, сложенном из дёрна, стоял идол Перуна — вырезанный из цельного дубового ствола, высотой в два человеческих роста. Лик его был суров и грозен: глубоко посаженные глаза, смотревшие на толпу из-под нависших бровей, прямой нос, сжатые губы, длинные усы, окованные серебром, и борода, вырезанная клином. На голове — железный шлем. В правой руке — палица, обитая железными полосами. В левой — рог, из которого жрецы поили его пивом и медовухой в дни праздников.

Перед идолом, на плоском камне, лежали требы: зерно, мёд, воск, пиво в глиняных горшках, а поверх всего — венки из колосьев, сплетённые накануне женщинами.

Старуха-жрица с выбеленными бельмами глаз и седыми космами, распущенными по плечам, уже была в бубен. Монотонно, глухо, с той особой размеренностью, от которой кровь начинала биться в такт, а мысли путались. Она стояла у самого круга, раскачиваясь из стороны в сторону, и бубен гудел, как далёкий гром, как голос самого бога, доносящийся из-за туч.

Звук разносился по городищу, заставляя птиц умолкать, а детей — замирать на бегу, оборачиваться, хвататься за подолы матерей.

III.

Рарог стоял у задней стены дома, вжавшись спиной в тёплые деревянные доски.

Ему было шесть лет. Он был тонким, как тростинка, с бледным лицом и тёмными глазами, смотревшими на мир слишком серьёзно для его возраста. Рубаха на нём висела мешком — перешитая из отцовской, слишком большая, подхваченная на поясе простой верёвкой, чтобы не спадала. Волосы — тёмные, мягкие — падали на лоб, лезли в глаза. Он постоянно откидывал их движением головы, но они лезли снова.

Он смотрел на костёр. И ему было страшно.

Не от того, что огонь огромный — он видел костры и раньше. Не от того, что взрослые пьют и кричат, и лица их красные от медовухи — это случалось каждый праздник. Ему было страшно от звука. От бубна. От того, как этот тяжёлый, глухой ритм входил в него, заставлял сердце биться в такт, как будто кто-то сжимал его грудь изнутри, как будто сам Перун, глядящий с высоты идола, протягивал к нему свою деревянную руку и касался его сердца.

Он зажал уши ладонями. Не помогло. Звук проходил через пальцы, через кости, через всё его тело. Он чувствовал его в животе, в груди, в голове — как будто бубен бился не снаружи, а внутри него.

— Рарог!

Мать — худая женщина с прозрачной кожей и светлыми, выгоревшими на солнце волосами — опустилась перед ним на корточки. На ней была красная понева с чёрной вышивкой, на голове — сорока, украшенная медными подвесками, на груди — оберег в виде лунницы. Она взяла его за руку — пальцы её были влажными от работы, пахли тестом и дымом.

— Что ты стоишь, как пень? Иди к детям, играй! Смотри, как весело!

Он покачал головой, не убирая ладоней от ушей.

— Там шумно, — сказал он, почти не разжимая губ.

Мать вздохнула. Она уже привыкла к его странностям. Он всегда был тихим, задумчивым. Не таким, как другие мальчишки — которые бегают, ломают ветки, бросают камни, дерутся до крови. Он сидел подолгу, смотрел на что-то, водил пальцем по земле, рисовал какие-то знаки. Мужчины говорили, что он порченый, что его коснулся Чернобог. Женщины жалели его мать. Только Лада, соседская девчонка, такая же нелюдимая, не насмехалась над ним.

— Посиди здесь, — сказала мать, погладив его по голове. — Я скоро вернусь. Только помогу с жертвенным быком. Ты же знаешь, что это нужно делать. Перуну нужна кровь, иначе он не даст нам дождя и победы.

Она ушла, смешавшись с толпой. Рарог остался один.

Дети бегали по площади, как стая шумных птиц. Мальчишки постарше играли в «коня»: один садился на плечи другому, и они дрались с такими же всадниками, падая в пыль. Девочки плели венки, пели песни. Все были заняты, все были в движении. И только Рарог стоял у стены, вжавшись в доски, с испуганными глазами и ладонями, прижатыми к ушам.

И тогда он услышал.

Сначала — голос Буривого. Насмешливый, злой. Потом — смех детей. Потом — удар, падение, боль в ободранных ладонях.

— Эй, гляньте! — кричал Буривой, указывая на него пальцем. — Это тот самый, который в прошлом году упал в обморок от дождя! Он думал, что Перун его покарает!

Буривой был старше — ему было девять. Он был широкоплечим, с наглой ухмылкой и кулаками, которые уже оставляли синяки на полдюжине сверстников. Его отец был боярином — богатым и уважаемым. Буривой знал это и вёл себя так, будто вся площадь принадлежала ему.

Дети засмеялись. Рарог стоял на коленях, глядя на свои ободранные ладони. Кровь выступала мелкими каплями, смешиваясь с пылью.

— Убери руки от него, Буривой.

Голос был низким, тяжёлым. Как у мальчишки, но слишком низким, слишком уверенным. Таким голосом могла бы говорить земля, если бы умела.

Все обернулись.

Лада стояла на пригорке. Ей было шесть лет, как и Рарогу. Но она была выше его на целую голову. Плечи у неё были квадратными, как у взрослого мужика. Лицо — широкое, с круглыми скулами и носом картошкой. Волосы — жёсткие, нечёсанные, заплетены в одну корявую косу, перевязанную кожаным ремешком. На ней была старая рубаха, перешитая из отцовской, и понева, подоткнутая за пояс. На ногах — ничего, только застарелые цыпки и шрамы.

Она была некрасивой. Она была похожа на маленького медведя. Но она не боялась Буривого.

— Ты кто такая? — фыркнул Буривой. — Иди к своим девкам, коромысло.

Лада спустилась с пригорка. Подошла вплотную. Её широкая ладонь легла на плечо Рарога — тяжёлая, тёплая, уверенная.

— Я сказала: убери руки, — повторила она. — Он — мой маляка. Тронешь его ещё раз — я тебе челюсть сверну.

Буривой усмехнулся, но в его глазах мелькнула неуверенность. Лада была широкой, тяжёлой. Её кулаки выглядели серьёзно. И что-то в её взгляде было такое, от чего у него вдруг засосало под ложечкой.

— Забирай своего больного цыплёнка, — сказал он, отступая. — Только знай: он будет всю жизнь прятаться за юбку. Смех!

Он развернулся и ушёл, уводя за собой свиту. Дети рассеялись, как стайка воробьёв, спугнутая кошкой.

Рарог стоял, не поднимая головы. Лада взяла его за руку.

— Пойдём, — сказала она. — Я покажу тебе одно место. Там тихо. Там никто не достанет.

Она повела его через площадь, через толпу взрослых, которая уже собиралась вокруг костра. Рарог шёл за ней, чувствуя, как её рука сжимает его пальцы — не больно, но крепко, как будто она боялась, что он убежит.

И в этот момент начался ритуал.

IV.

Жрица подняла бубен над головой. Её седые космы взметнулись, как змеи. Белые глаза смотрели в небо, но, казалось, видели что-то другое — то, что скрыто от живых.

— Кровь к небу! — закричала она, и голос её был как скрежет камня о камень. — Колос к земле! Перун, услышь нас! Дай нам силу! Дай нам победу! Дай нам урожай!

Мужчины подхватили. Запели. Глухо, гортанно, отбивая ритм ладонями по бёдрам. Женщины вторили, высоко и пронзительно. Бубен бился в этом гуле, как сердце огромного зверя.

Жертвенного быка вывели из загона. Белый, с рогами, обмотанными красными лентами, с венком из колосьев на шее. Он не сопротивлялся, жевал жвачку, глядя на людей доверчивыми чёрными глазами, в которых отражался огонь костра. Его вели двое мужчин — крепких, бородатых, в кожаных передниках. Бык переступал копытами, и земля под ним вздрагивала.

Рарог замер. Он смотрел на быка. На его глаза. На то, как он переступает копытами, как его шкура вздрагивает от мух. Ему казалось, что бык смотрит прямо на него, что он что-то знает, что он прощается.

— Не смотри, — сказала Лада, дёрнув его за руку. — Пойдём.

Но он не мог отвести взгляд.

Кузнец — огромный мужчина с руками, как дубовые корни, с опалёнными волосами и чёрным от сажи лицом — вышел из толпы. В руках он держал топор на длинном топорнице, с широким лезвием, блестевшим на солнце. Он подошёл к быку, поднял топор.

Бык дёрнулся. Но его держали крепко.

Удар.

Кровь брызнула фонтаном, окатив стоящих рядом. Она была ярко-алой, почти оранжевой в свете костра. Бык захрипел — низкий, утробный звук, от которого у Рарога всё похолодело внутри. Он упал на колени, потом на бок. Его глаза — всё ещё доверчивые — смотрели на небо.

А потом Рарог услышал.

Бубны забили быстрее. Громче. Женщины закричали — высоко, пронзительно. Мужчины запели — низко, гортанно. И всё это слилось в один звук, который входил в него через уши, через кожу, через пальцы, через каждый волос на теле. Он видел, как бык умирает, но он видел не быка. Он видел что-то другое.

Языки пламени над костром. Они извиваются, сплетаются, образуют узор. Птицу. С огромными крыльями, с тремя острыми зубцами на конце каждого крыла. Она парит над быком, над людьми, над костром. Она смотрит на него. Прямо на него. Её глаза — чёрные, глубокие, как ночь, как вода в озере, как бездна.

Рарог почувствовал, как земля уходит из-под ног. Как воздух становится слишком тяжёлым, слишком густым, чтобы дышать. Как звук бубнов оборачивается вокруг его головы и сжимает, сжимает, сжимает.

Он упал.

Не как падают — плавно, на колени, подкошенные слабостью. Он упал как мешок, как камень, как подрубленное дерево, ударившись головой о край старого пня, что торчал у края площади. Кровь потекла из рассечённого лба — тонкая струйка, смешиваясь с пылью и потом.

— Рарог! — крикнула Лада.

Она опустила перед ним на колени, но он не слышал её. Он слышал только птицу. Она билась внутри его головы, она кричала, она звала его.

«Ты — мой. Ты — тот, кто видит. Ты — тот, кто слышит. Мы — с тобой. Всегда».

Он открыл рот, чтобы крикнуть, но не смог. Голос пропал. Вместо крика — только хрип, тонкий и жалкий. Он потерял сознание.

Лада смотрела на него. На его тонкое, бледное лицо. На кровь, которая текла по виску, стекая в глаз, в ухо, на шею. На пальцы, которые всё ещё дрожали, царапая землю, как будто он хотел что-то нарисовать — или что-то схватить.

— Маляка, — прошептала она. — Ты только не помирай. Ты только не уходи.

Она взяла его за руку и почувствовала, как его пальцы сжали её. Слабо, но сжали.

— Я с тобой, — сказала она. — Я с тобой.

На коре рядом с ним, случайно начерченная его пальцем, когда он падал, была птица. Крыло с тремя зубцами. И она была похожа на языки пламени.

Птица, которая смотрела на небо, которое уходило из-под ног.

V.

Вечером, когда праздник закончился и костёр прогорел до углей, когда пьяные мужчины разбрелись по домам, а женщины унесли детей, Рарог очнулся в тёмном тереме.

Голова болела, лоб был перевязан тряпкой, пропитанной настоем полыни и подорожника. Пахло дымом, сухими травами и чем-то кислым — может, квасом, может, ржаным тестом.

Он открыл глаза и увидел, что кто-то сидит у двери, упершись широкими плечами в косяк.

Это была Лада.

Она грызла сухую рыбу и ждала, пока он очнётся. Увидев, что он открыл глаза, она подошла. В руке у неё была обгоревшая палочка — из костра, тонкая, с заострённым концом.

— На, — сказала она, сунув её в его ладонь. — Тонкая. С ней сподручней рисовать. Я нашла.

Рарог смотрел на палочку. Потом на неё.

— Ты ждала меня, — сказал он.

— Я всегда буду ждать, — сказала она. — Ты — мой маляка. Я — твоя скала. Только не помирай больше, ладно?

Он улыбнулся. Впервые за этот день.

— Хорошо, — сказал он.

Она села рядом. Её широкая, грубая ладонь накрыла его пальцы.

— Ты нарисуешь мне птицу? — спросила она. — Ту, которую ты видел? Я хочу посмотреть.

Он кивнул. Взял палочку. Взял кусок коры, который она принесла.

И начал рисовать.

Языки пламени. Крыло. Птицу с тремя зубцами на конце.

Ту, которая была с ним всегда.

Так началась эта история. С костра, с бубна, с жертвенной крови, с птицы, привидевшейся мальчику в самый страшный миг его жизни. Тогда никто не знал, кем он станет. Никто не знал, что этот бледный мальчик, упавший в обморок от звука бубна, через много лет поведёт за собой народы, построит города и даст начало государству, которое переживёт его на тысячу лет.

Никто не знал. Кроме, может быть, одной некрасивой девочки с серыми, как болотная вода, глазами, которая сидела рядом, держала его за руку и ждала, пока он очнётся.

Она всегда ждала. Она всегда будет ждать.

Так начинаются легенды.

ГЛАВА 2. КРЫЛО НА КОРЕ

Утро после праздника. Дом, в котором живёт семья Рарога. Солнце едва поднялось над лесом, и свет его, просачиваясь сквозь щели в крыше, лежал на земляном полу длинными золотыми полосами. В доме было тихо — так тихо, как бывает только после больших праздников, когда все спят, утомлённые медовухой, песнями и жертвенным дымом. Где-то за стеной мычала корова, недовольная тем, что её доят позже обычного. Где-то на дальнем конце городища пел петух, но голос его звучал неуверенно, как будто он сам не верил, что наступил новый день.

Сруб из толстых сосновых бревен, проложенных мхом, двускатная крыша, крытая дерном, в котором уже успела прорасти трава. Внутри — одна большая комната, разделённая на две половины занавеской из грубой шерсти. В одной — печь-каменка, сложенная из больших валунов без раствора, с открытым устьем. Вокруг печи — глиняная посуда: горшки, кринки, плошки. В другой половине — полаты, широкий деревянный настил, на котором спала вся семья. Под полатами — сундук с одеждой, пара коробов с зерном, лукошки. Над всем этим — пучки сухих трав, подвешенные к потолочным балкам: полынь, зверобой, душица, богородская трава. Они пахли горько и сладко, и запах этот пропитал все бревна, всю одежду, весь воздух.

На стене, напротив печи, висели пустые ножны отцовского меча. Кожа на них выцвела, затвердела, но рукоять, которую Ратибор сжимал перед последним походом, всё ещё хранила отпечаток его ладони. Рарог не помнил отца, но знал: этот меч был тяжёлым, а рукоять — слишком широкой для его тонких пальцев.

Рарог проснулся от того, что кто-то тяжело дышал ему в затылок.

Голова гудела, как пустой котёл, по которому ударили палкой. Лоб был перевязан тряпкой, пропитанной чем-то горьким и липким. Пахло полынью, дымом, мокрой шерстью и ещё чем-то кислым, как ржаное тесто, которое мать ставила на закваску.

Он лежал на полатах, укрытый старой медвежьей шкурой, вытертой до блеска. Свет из щели в крыше падал прямо ему на лицо. Он зажмурился. Во рту было сухо, как в печи.

— Проснулся.

Голос был хриплым, низким. Знакомым.

На краю полатей, у самой стены, сидела Лада. Она не спала. Она сидела, поджав под себя ноги, и смотрела на него. В руках у неё была обгоревшая палочка — та самая, которую она принесла вчера вечером. Рядом с ней на досках лежал кусок березовой коры, свернутый в трубку.

— Ты давно здесь? — спросил Рарог. Голос его был слабым, как будто он не говорил, а шептал.

— С вечера, — сказала Лада. — Твоя мать просила посмотреть за тобой, пока она к ведунье ходила.

— К ведунье?

— За травами. Она сказала, у тебя жар был. Ты всю ночь ворочался и бормотал про птицу.

Рарог медленно сел. Голова закружилась, и он ухватился за край полатей. Лада не пошевелилась, чтобы помочь ему. Она знала: он не любит, когда его трогают, когда он слаб. Она просто сидела и смотрела.

— Я видел птицу, — сказал он. — Вчера. У костра.

— Я знаю, — сказала она. — Ты упал. И рисовал. Пальцем. На земле.

Он опустил взгляд на свои руки. Пальцы были перепачканы сажей, под ногтями — грязь. На ладони — царапины от вчерашнего падения, уже начавшие затягиваться тонкой розовой кожей.

— Я хотел нарисовать огонь, — сказал он. — Но получилась птица. Я не хотел. Она сама.

Лада ничего не сказала. Она развернула бересту, которую держала в руках, и протянула ему.

— На, — сказала она. — Я принесла. Рисуй.

Он взял кору. Она была шершавой, ещё сырой, с прожилками, как вены на старой руке. Пахла лесом, дымом и чем-то сладким — может, мёдом, который был на пальцах Лады.

— Твоя мать сказала, ты малюешь, — сказала она хрипло. — Давай. Намалюй мне что-нибудь.

Рарог взял палочку. Пальцы дрожали.

Он закрыл глаза.

И сразу увидел.

Пламя. Танцующие языки, переплетающиеся друг с другом, острые, как щучьи зубы, тянущиеся вверх, к небу, которое трескается от жара. Они были живые. Они двигались, дышали, пели. И среди них — птица. Она расправляла крылья, и каждый конец крыла заканчивался тремя острыми зубцами, как три языка пламени, вырвавшиеся из одного корня.

Он открыл глаза. Начал водить палочкой по коре.

Быстро. Судорожно.

И вдруг пальцы его перестали слушаться.

Они двигались сами, выкручивая суставы так, что хрустело запястье. Рарог смотрел на свою руку со стороны — чужую, птичью, с длинными узловатыми пальцами, которые жили своей жизнью отдельно от него. Он не мог остановить их. Он не мог заставить их рисовать то, что хотел. Он был зрителем в собственном теле.

Лада подошла ближе. Она дышала ему в макушку. Её широкая тень накрывала его, но ему не было страшно. Он вёл палочку вверх, вниз, закручивал спираль, выводил острые кончики. Он не видел, что получается, — он видел только огонь, который танцевал перед его внутренним взором.

Кончик палочки шипел, впиваясь в сырую бересту. Запахло горелым мёдом и древесной смолой — тот самый запах, что шёл от крыльев белого сокола в ту зимнюю ночь. Огонь вернулся, но теперь он пах деревом.

Он остановился. Смотрел на кору.

И там — не пламя.

Там была птица.

Она смотрела на него с коры. Распахнутое крыло, резкое, рубленое, с тремя расходящимися в разные стороны зубцами. Не живое крыло, а знак. Как будто сама кора треснула и явила этот рисунок изнутри. Как будто она всегда там была, а он просто снял верхний слой.

Рарог швырнул палочку. Его трясло.

— Я хотел нарисовать огонь, — прошептал он. Голос был тонким, как у девочки. — Я хотел нарисовать пламя. А получилась птица. Я не хотел. Она сама.

Лада смотрела на кору. Её серые, болотные глаза сузились. Она протянула свою широкую, обветренную руку и прикоснулась пальцем к острию нарисованного крыла.

— Что это? — спросил Рарог, указывая на три расходящихся луча.

— Тризуб, — хрипло бросила Лада, даже не взглянув на него. — Знак Перуновой секиры, когда она бьёт в камень. Или коготь. Бабка говорила, таким знаком старые князья скот метили перед жертвоприношением. Только они его огнём выжигали, а ты кровью нарисовал.

— Я не кровью, — сказал он. — Я палочкой.

— Ты упал вчера, — сказала она. — У тебя на руке была кровь. Она смешалась с сажей. Ты не заметил, но ты рисовал кровью.

Рарог посмотрел на свои пальцы. На подушечках, там, где он содрал кожу при падении, остались тёмные следы. Он не заметил. Он не чувствовал.

Она взяла кору, обернула её куском старой холстины, трижды поплевала через левое плечо и сунула узелок глубоко за пазуху, к самому телу.

— Если найдут у тебя голую, — сказала она, — решат, что ты душу Велесу продал. А завернутую — подумают, просто малюешь. Она знала правила леса, потому что лес забрал её бабу.

— У меня бабка говорила, — сказала она медленно, — что у некоторых людей руки светятся. Что они видят то, что спрятано в дереве. Мою бабу сожгли, потому что она лечила порченных. — Она подняла на него взгляд. — Ты тоже порченный, Рарог. Ты не девка. Ты — знахарь. Ты рисуешь не то, что хочешь, а то, что сидит в тебе.

Рарог смотрел на неё. Его глаза наполнились слезами.

— Я не хочу быть знахарем, — прошептал он. — Я хочу быть воином. Как отец.

Он перевёл взгляд на стену, где висели пустые ножны от меча отца. Кожа на них выцвела, затвердела. Рукоять была сделана для широкой мужской ладони. Рарог попытался обхватить её взглядом, представить, как сжимает железо. Но рукоять расплывалась. Зато деревянная ложка на столе виделась до последней занозы. Он зарычал от бессилия.

— Я не хочу быть слабым, — сказал он. — Я не хочу, чтобы меня называли девкой.

Лада молчала. Она смотрела на его тонкие пальцы, на сломанную палочку, на кору с птицей. Она понимала: его не сделают воином. Он слишком звонкий. Слишком слышит. Слишком видит то, чего нет.

Но она не сказала ему этого. Вместо этого она взяла кору, спрятала её за пазуху и сказала:

— Тогда я стану воином за тебя. Я сильная. Я буду драться, а ты будешь смотреть. И рисовать. Чтобы я не забывала, зачем я драться буду.

Она встала. Её плечи перекрыли свет из щели в крыше.

— Только никому не показывай эту птицу, — добавила она. — Если взрослые увидят, они скажут, что ты видел Велеса. А Велес не любит людей. Он забирает их в лес. — Она кивнула на дверь. — Я пойду. Мне нужно колоть дрова. Увидимся у озера вечером. Не сдохни до вечера.

Она ушла. Слышно было, как её тяжелые шаги гремят по доскам пола, как скрипнула дверь, как она спрыгнула с высокого порога. Потом — тишина.

Рарог остался один. Он смотрел на свои руки. На пальцы, которые всё ещё дрожали. На обожжённый кончик палочки, которой он вывел крыло.

Он ненавидел эту птицу. Он ненавидел свою руку, которая нарисовала её. Он сжал кулак так сильно, что ногти впились в ладонь.

— Я стану воином, — прошептал он. — Я убью в себе эту девчонку. Клянусь.

Но его голос звенел, как натянутая тетива. И за дверью, где стояла Лада и слушала его дыхание, она качала головой. Она знала: он не сможет. Он слишком мягкий. Слишком слышит. Слишком рисует.

И она, не оборачиваясь, пошла во двор колоть дрова.

Вечером Рарог пришёл к озеру.

Вода в нём была тёмной, почти чёрной, потому что озеро было глубоким, а дно его — торфяным. Вокруг росли старые ивы, склонившиеся к самой воде. Место это считалось нехорошим: говорили, что в озере живёт водяной, который утаскивает людей на дно, и что по ночам здесь слышны голоса утопленников. Но Рарог не боялся. Он приходил сюда, когда хотел побыть один.

Лада уже сидела на большом плоском камне у самой воды и кидала плоские камешки. Они прыгали по воде — пять, шесть раз.

— Ты принёс палочку? — спросила она, не оборачиваясь.

Он кивнул. Достал из-за пояса новую палочку — ровную, с острым концом.

— Я хочу нарисовать тебя, — сказал он. — Хорошо?

Она фыркнула.

— Я некрасивая. Зачем меня рисовать?

Он посмотрел на неё. На её широкие плечи, квадратное лицо, нос картошкой. Она и правда была некрасивой. Но он видел её иначе.

— Ты — скала, — сказал он. — Ты — крепкая. Ты — защита. Ты — как камень, который держит берег.

Она усмехнулась.

— Рисуй, маляка, — сказала она. — Только потом сожги в печи, под золой. Отдай духам очага, чтобы не болтали.

Он начал рисовать. Её широкие плечи, тяжёлые руки, лицо — грубое, но спокойное, глаза — серые, как вода перед дождём.

Когда он закончил, она посмотрела на рисунок. Долго. Молча.

— Ты сделал меня красивой, — сказала она. — Я не такая.

— Ты такая, — сказал он. — Ты красивая. Только ты не знаешь. И никто не знает. Но я знаю.

Она быстро отвернулась. Но он успел заметить, как блеснули её глаза.

— Ладно, маляка, — сказала она, вставая. — Пойдём домой.

Он спрятал рисунок за пазуху. И пошёл за ней, через лес, через луг, к городищу. Она шла впереди, широкая, тяжёлая, некрасивая, и её тень падала на него, закрывая от звёзд.

Ночью Рарог лежал на полатах, глядя в темный потолок.

Он смотрел на кору с рисунком — той, что нарисовал утром. Птица. Крыло с тремя зубцами. Она смотрела на него из темноты. Она была живой.

— Ты — кто? — прошептал он. — Зачем ты пришла ко мне? Я не хочу тебя. Я хочу быть воином. Я хочу быть сильным.

Птица молчала.

Он сжал кору в руке, хотел разорвать, сжечь. Но не смог. Вместо этого он спрятал её под подушку. Туда же, где лежала палочка.

Он закрыл глаза.

Во сне он снова видел её. Птицу, которая парила над ним, над озером, над городищем. Она была везде. Она была им.

И когда он проснулся утром, первое, что он сделал, — взял кору и посмотрел на неё. Птица была на месте. Она никуда не ушла.

Он улыбнулся.

Он спрятал кору под подушку. Завтра старший сын кузнеца снова толкнёт его в грязь за то, что Рарог не умеет держать деревянный меч. Завтра мать опять будет смотреть на него с жалостью. Но там, под подушкой, лежала птица. И пока она была у него, ни кузнец, ни вождь городища, ни даже старый конунг, приезжавший за данью прошлой осенью, не имели над ним полной власти. Эта власть была страшной, но она была его собственной.

Так в жизнь Рарога вошла птица. Не как знамение, не как проклятие, не как благословение. Она просто была — как была всегда. Он не знал ещё, что этот знак, нарисованный дрожащей рукой на куске березовой коры, пройдёт с ним через всю жизнь. Что он будет вырезан на его щите, вышит на его стяге, отлит в серебре. Что он станет знаком, под которым соберутся народы.

Но до этого было ещё далеко. А пока он был просто мальчиком, который боялся бубнов, ненавидел себя за слабость и любил одну некрасивую девочку, которая ждала его у озера.

Пока — просто мальчик.

Пока — просто птица на коре.

ГЛАВА 3. ВЕДУНЬЯ

Конец лета. Месяц серпень, время жатвы. Рожь уже сжата и связана в снопы, ячмень дозревает на полях, а по утрам над рекой стоит густой туман, белый и плотный, как овечья шерсть. Дни ещё теплые, но по ночам уже холодает, и в лесу появляются первые жёлтые листья — сначала на берёзах, потом на осинах, а к концу месяца и на дубах.

Прошло два месяца с Перунова дня. Рарог почти оправился от падения, только тонкий ирам на лбу, прикрытый волосами, напоминал о том, что случилось. Он снова рисовал — тайком, украдкой, пряча рисунки под полатями. Птица выходила у него по-разному: то грозной, с распахнутыми крыльями, то тихой, спящей, свернувшейся, как зародыш в яйце. Но всегда — с тремя зубцами на конце крыла. Всегда — смотрящей на него.

Лада держала слово. Она не показывала никому его рисунки, не рассказывала о том, что видела. Но она сама не могла забыть ту птицу. Она снилась ей по ночам — летящая над чёрной водой, над горящим костром, над городищем, и в глазах её было что-то, отчего Лада просыпалась с колотящимся сердцем.

Теперь она вела его к ведунье.

Они вышли из городища на рассвете, когда солнце ещё не поднялось над деревьями и трава была мокрой от росы. Лада шла впереди, раздвигая ветки руками, не обращая внимания на крапиву, хлеставшую по ногам. Рарог шёл следом, стараясь не отставать. На плече у него висел небольшой туесок с мёдом — подношение для ведуньи. Лада несла каравай ржаного хлеба, завернутый в чистую холстину.

Лес был старым. Сосны и ели стояли вплотную друг к другу, и солнце едва пробивалось сквозь их кроны. Под ногами — мох, мягкий и пружинистый, как медвежья шкура. Пахло грибами, прелой листвой и смолой. Где-то далеко стучал дятел, и звук этот разносился по лесу, как стук костяного молоточка по стволу.

— Далеко ещё? — спросил Рарог, переводя дыхание.

— Не ной, — сказала Лада, не оборачиваясь. — Бабка не любит, когда к ней приходят с жалобами. Она скажет — порченный, и выгонит.

— А ты уже ходила к ней?

Лада не ответила. Она шла дальше, продираясь сквозь заросли орешника. Рарог заметил, что она знает дорогу — она не останавливалась, не искала приметы, не осматривалась. Она шла так, будто ходила здесь сотни раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.